Альтер М.

Печка-матушка

Альтер М.

Печка-матушка

«Автор»
2026

М. А.

Печка-матушка / А. М. — «Автор», 2026

В старой избе на краю деревни печь — не просто кирпичная кладка. Она живая. Она «кушает» дрова, но предпочитает плохие мысли. Хозяйка Пелагея, измученная одиночеством и усталостью, обнаруживает, что печь заговорила её голосом и хочет выйти наружу. Чтобы спасти детей и дом, ей придётся научиться главному: не бояться, не злиться и любить. История о том, что даже самое тёмное существо можно понять и простить. Если очень захотеть.

© М. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дом, который слушает 5
Глава 2. То, что живёт в кирпичах 13
Глава 3. Голодная тишина 21
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Альтер М.
Печка-матушка

Глава 1. Дом, который слушает

Старая изба стояла на краю деревни, там, где лес подступал к огородам так близко, что летом малина росла прямо у забора, а зимой ветки берёз царапали окна, словно просились внутрь. Дом был крепкий, из толстых брёвен, потемневших от времени и дыма, с низкой крышей, поросшей мхом, и крыльцом, которое скрипело тремя разными голосами: одна половица стонала, вторая всхлипывала, третья сухо щёлкала, как старуха языком. Но главным в этом доме была печь.

Она занимала почти половину горницы, огромная, белая, с закопчённым устьем и полкой, на которой рядами стояли чугунки, крынки и глиняные горшки. Печь была сложена давно, ещё дедом нынешней хозяйки, и с тех пор её не раз перекладывали, подмазывали, белили, но она словно бы не менялась. Только трещины на её боках становились глубже, да заслонка, тяжёлая, чугунная, с кованой ручкой в виде птичьей головы, всё так же плотно закрывала устье, когда печь не топили. Летом она молчала. Зимой — дышала. И всегда, в любое время года, она слушала.

Хозяйку звали Пелагея. Ей было сорок два года, но выглядела она старше: сутулая, с сухими, натруженными руками, с лицом, на котором морщины пролегли не от смеха, а от привычки поджимать губы. У неё было двое детей: сын Гришка, тринадцати лет, и дочка Нюшка, восьми лет. Муж у Пелагеи ушёл в город на заработки три года назад и сначала присылал деньги, потом реже, потом перестал совсем. С тех пор Пелагея говорила о нём либо с презрением, либо с такой тоской, что дети предпочитали не спрашивать. Она работала в колхозе, держала кур, козу, огород, и всё это делала одна, потому что помогать ей было некому. Усталость сделала её голос резким, а слова — колючими. Она сама не замечала, как ругает детей с утра до вечера. То Гришка не так дров наколол, то Нюшка не так воду принесла, то оба не так посмотрели, не так вздохнули, не так встали. И каждое слово, сказанное с раздражением, падало в тишину дома, как камень в колодец. Печь принимала эти камни. И запоминала.

Утро началось с того, что Пелагея вышла на крыльцо и увидела, что Гришка не наколол дров, хотя она велела ему это сделать ещё вечером. Мальчик стоял у сарая, держал в руках топор и смотрел куда-то в сторону леса, словно там происходило что-то важное. Пелагея вспыхнула сразу, как сухая солома.

— Ты чего стоишь, как пень? — крикнула она. — Я тебе что говорила? Дров наколоть! А ты? Опять в облака уставился? Отец твой такой же был, тоже всё мечтал, а толку — ноль. Вон, ушёл, ищи его теперь. А ты туда же?

Гришка вздрогнул, опустил топор и пробормотал:

— Я сейчас, мам. Я только…

— Что «только»? Что «только»? — Пелагея спустилась с крыльца, и половицы под её ногами застонали, завсхлипывали, защёлкали. — Только языком чесать ты мастер. А как за дело браться — так тебя нет. Весь в отца.

Она сказала это громко, с той особой злостью, которая копится годами и потом выплёскивается на первого, кто попадётся под руку. Гришка ничего не ответил. Он знал, что если начать оправдываться, будет только хуже. Он взял полено, поставил его на чурбак и ударил топором. Полено раскололось с сухим треском. Пелагея постояла ещё немного, глядя, как он работает, потом повернулась и пошла в дом.

В сенях было темно и пахло кислым молоком и старым деревом. Нюшка сидела на лавке у окна и что-то рисовала угольком на клочке бумаги. Увидев мать, она быстро спрятала рисунок за спину.

— Что это ты прячешь? — спросила Пелагея.

— Ничего, — тихо сказала Нюшка.

— Покажи.

Девочка медленно вытащила бумажку. На ней был нарисован дом, а внутри — что-то большое и белое, с чёрным пятном посередине. Пелагея прищурилась.

— Это что?

— Это печка, — сказала Нюшка. — Она смотрит.

Пелагея хотела сказать что-то резкое, но вдруг замолчала. В доме было тихо, только часы на стене, старые ходики с гирями, мерно отстукивали время. И в этой тишине Пелагее показалось, что от печи идёт едва слышный шёпот. Не звук, а как будто кто-то очень тихо перебирает слова, не произнося их вслух. Она прислушалась. Шёпот стих.

— Не выдумывай, — сказала она Нюшке, но уже без прежней злости. — Печка — она и есть печка. Каменная. Смотрит она, тоже скажешь.

Она взяла бумажку и хотела выбросить её в печь, но заслонка была закрыта. Пелагея дёрнула ручку, но та не поддалась. Она дёрнула сильнее. Заслонка сидела плотно, словно её прижали изнутри. Пелагея нахмурилась.

— Что за дела, — пробормотала она. — Гришка! Ты заслонку не трогал?

Из сеней послышался голос сына:

— Нет, мам. Я её с утра не открывал.

— А кто открывал?

— Никто. Мы утром ещё не топили.

Пелагея отпустила ручку и отступила на шаг. Печь стояла перед ней, большая, белая, с чёрным устьем, закрытым чугунной заслонкой. И на секунду Пелагее показалось, что заслонка чуть шевельнулась, как будто кто-то за ней приник к щели и смотрит.

Она тряхнула головой. Устала. Вот и мерещится. Ночью Нюшка кашляла, Пелагея вставала к ней два раза, потом до рассвета ворочалась, думала о деньгах, о муже, о том, что скоро зима, а дров едва хватает. Нервы. Всё от нервов.

Она вышла на кухню, поставила чайник, но не смогла заставить себя подойти к печи. Чайник она в итоге поставила на керосинку, которая стояла тут же, на столе. Керосинка зашипела, завоняла, но чайник всё-таки нагрелся. Пелагея налила себе чаю, села у окна и стала смотреть, как Гришка колет дрова. Мальчик работал быстро, ловко, и она вдруг почувствовала укол совести. Он же старается. Он же не виноват, что отец ушёл. И Нюшка не виновата. А она, Пелагея, срывается на них, как на мешках с соломой. Словно они и не дети вовсе, а просто ещё одна работа, которую надо сделать.

Она допила чай и пошла в горницу, чтобы открыть заслонку и всё-таки растопить печь. День был холодный, сырой, и к вечеру надо было протопить, чтобы к ночи в доме стало тепло. Пелагея подошла к печи, взяла кочергу и снова дёрнула заслонку. На этот раз та поддалась легко, словно её никто и не держал. Чугунная птичья голова на ручке блеснула в свете лампы. Пелагея заглянула в устье. Внутри было темно, пахло золой и старым дымом. И ещё чем-то другим, едва уловимым, сладковатым, как будто там, в глубине, что-то подгорало.

— Вот ещё, — сказала Пелагея вслух, чтобы услышать собственный голос. — Каменная. Смотрит она.

Она положила в печь несколько поленьев, сверху щепок, чиркнула спичкой. Огонь сначала не хотел разгораться, потом вспыхнул сразу, жадно, с гулом, и в устье заплясали отблески. Пелагея закрыла заслонку и пошла заниматься делами. День покатился дальше, как телега по ухабам: то одно, то другое. Коза вырвалась из загона и полезла в огород, Нюшка разбила

крынку, Гришка забыл закрыть калитку, и Пелагея снова кричала, снова говорила слова, которые потом сама же и забывала. Дети молчали. Они привыкли.

К вечеру дом прогрелся. Печь дышала теплом, и в горнице стало даже уютно. Пелагея уложила Нюшку в постель, Гришка ушёл в свою каморку за занавеской, и в доме наступила та особенная тишина, когда слышно, как потрескивают остывающие угли и как где-то в стене мышь скребёт коготками. Пелагея сидела за столом и штопала Гришкину куртку. Игла ходила вверх и вниз, нитка ложилась ровно, и постепенно усталость отпускала её. Она даже стала напевать вполголоса старую песню, которую пела ей когда-то бабушка.

И тут она услышала, что кто-то подпевает.

Голос был тихий, глухой, как будто шёл из-под земли. Пелагея замолчала. Голос тоже замолчал. Она подождала. Тишина. Только ходики стучат. Пелагея вздохнула и снова запела. И снова услышала, как из глубины дома, от печи, кто-то повторяет за ней слова. Не совсем так, как она пела, а с той же интонацией, с той же хрипотцой, но чуть-чуть иначе, словно передразнивая.

Пелагея встала. Игла выпала из рук и покатилась по полу. Она подошла к печи. Заслонка была закрыта, но из-под неё тянуло тонкой струйкой дыма, и в этом дыме, если принюхаться, был тот самый сладковатый запах, который она почувствовала утром. Пелагея приложила ладонь к белёной поверхности. Печь была тёплая, почти горячая, и под ладонью она ощутила что-то похожее на биение. Медленное, глухое, как будто там, внутри, в кирпичной толще, бьётся огромное сердце.

— Кто здесь? — спросила Пелагея шёпотом.

Печь молчала. Но Пелагее показалось, что в этом молчании есть что-то выжидающее. Как будто кто-то очень старый и очень терпеливый сидит в темноте и ждёт, когда она скажет что-нибудь ещё.

— Гришка! — позвала она громче. — Нюшка!

Из-за занавески показалась встревоженная физиономия Гришки.

— Что, мам?

— Ты ничего не слышал? Только что. Как будто… как будто кто-то пел.

Гришка прислушался. В доме было тихо.

— Нет, — сказал он. — Ничего не слышал.

— А сейчас?

Они постояли молча. Печь дышала теплом. Ходики стучали. За окном ветер шевелил ветки берёзы, и тень от них ползла по полу, как чёрные пальцы.

— Нет, — повторил Гришка. — Мам, ты чего?

— Ничего, — сказала Пелагея. — Иди спи.

Она дождалась, пока он уйдёт, и снова повернулась к печи. Теперь она смотрела на неё иначе. Не как на вещь, а как на что-то живое. И печь, казалось, смотрела на неё в ответ. Через закрытую заслонку, через кирпич, через побелку. Смотрела и ждала.

— Ты чего хочешь? — спросила Пелагея. — Тепла? Дров? Я тебе утром дала дров. Чего тебе ещё?

Печь не ответила. Но в устье что-то щёлкнуло, тихо, как будто кто-то прищёлкнул языком. Пелагея отшатнулась. Сердце у неё заколотилось часто-часто. Она схватила со стола лампу и хотела уже уйти в спальню, но тут из-за заслонки послышался голос. Тихий, вкрадчивый, очень похожий на её собственный, но с той особенной хрипотцой, которую она слышала, когда злилась.

— Пелагея, — сказал голос. — Пелагея, а ты сегодня опять кричала.

Пелагея замерла. Лампа в её руке дрогнула, и тени заметались по стенам.

— Кто это? — прошептала она.

— Это я, — сказал голос. — Печка-матушка. Ты меня кормишь, я тебя грею. Ты меня топишь, я тебя слушаю. А ты, Пелагея, сегодня опять плохие слова говорила. Про Гришку. Про Нюшку. Про мужа своего. Я всё слышала.

Пелагея хотела закричать, но голос застрял в горле. Она смотрела на печь, и ей казалось, что белые бока её чуть шевелятся, как бока сытого кота.

— Ты… ты что такое? — выдавила она.

— Я — печка, — сказал голос с той же вкрадчивой хрипотцой. — Я тут давно. Дольше тебя. Дольше твоей бабки. Я всё помню. Я всё слышу. И я, Пелагея, голодная.

— Я тебя топила, — сказала Пелагея. — Дровами.

— Дрова — это еда, — согласился голос. — Но не та. Дрова — это как хлеб. А ты меня, Пелагея, плохими мыслями кормишь. Злыми словами. Обидами. Вот это — пирог. Вот это — мёд. Я такое люблю. Я такое очень люблю.

Пелагея попятилась. Лампа в её руке ходила ходуном, и огонёк метался, как испуганная птица.

— Я не хотела, — сказала она. — Я устала. Я одна. Я…

— Знаю, — сказал голос. — Я всё знаю. Я тебя слушаю с утра до вечера. Ты думаешь, я каменная? Я не каменная. Я живая. Ты меня кормишь, я тебя грею. Но ты, Пелагея, много мне даёшь. Слишком много. Я уже не помещаюсь в своём брюхе. Мне тесно. Мне хочется… выйти.

— Выйти? — прошептала Пелагея.

— Выйти, — повторил голос. — Ты меня выпусти. Ты меня выпусти, и я тебя не трону. А не выпустишь — я сама выйду. Только тогда, Пелагея, тебе со мной не сладить.

Пелагея не помнила, как оказалась в спальне. Она влетела туда, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней спиной. Сердце колотилось так, что болели рёбра. В спальне было темно и холодно. Нюшка спала, свернувшись калачиком под старым одеялом. Гришка за занавеской тоже, кажется, спал — слышалось его ровное дыхание. Пелагея стояла и слушала. Из горницы доносилось только тихое потрескивание. Потом и оно стихло.

Она простояла так, наверное, полчаса, прежде чем рискнула выглянуть. В горнице было пусто и тихо. Печь стояла на месте, белая, спокойная, и заслонка была закрыта. Пелагея подошла к ней на цыпочках, словно боялась разбудить. Она приложила ухо к тёплому боку. Внутри что-то шевельнулось, шурша, как будто там перекладывали бумажки. И потом очень тихо, очень вкрадчиво голос, похожий на её собственный, сказал:

— Спи, Пелагея. Утро вечера мудренее. А я подожду.

Пелагея отпрянула и в ту же секунду поняла, что теперь она не сможет уснуть. Она села на лавку у окна, поджала ноги и всю ночь просидела так, глядя на белую печь и слушая, как в её глубине что-то тихо, довольно урчит. Как будто там, внутри, кто-то съел что-то очень вкусное.

Утром Гришка встал первым. Он вышел из-за занавески, сонный, растрёпанный, и увидел мать, сидящую у окна с открытыми глазами.

— Мам, ты чего не спишь?

Пелагея повернулась к нему. Лицо у неё было серое, осунувшееся, как после долгой болезни.

— Гриша, — сказала она медленно. — А ты когда-нибудь слышал, чтобы печка говорила?

Гришка посмотрел на неё с недоумением.

— Печка? Нет. А что?

Пелагея открыла рот, чтобы рассказать, но вдруг поняла, что не может. Слова застревали в горле, как ком сухой каши. Она и сама уже не была уверена, что ей это не приснилось. Ночь, усталость, нервы — мало ли что померещится. Она провела рукой по лицу и попыталась улыбнуться.

— Ничего. Показалось. Иди, завтракать будем.

Она встала, чтобы сварить кашу, и машинально подошла к печи. Заслонка была приоткрыта. Из устья тянуло холодом, как из погреба. И в этом холоде, едва слышно, как выдох, прозвучало:

— Не забудь, Пелагея. Ты меня накормила. Теперь моя очередь.

Пелагея замерла с кочергой в руке. Потом медленно, очень медленно закрыла заслонку. Чугунная птичья голова на ручке показалась ей на секунду живой: клюв приоткрыт, глаз блестит. Она отдёрнула руку и вышла на крыльцо. Утро было холодное, ясное. Над лесом висел туман, и в этом тумане деревья казались серыми призраками. Гришка колол дрова. Нюшка вышла с куклой и села на ступеньку.

Пелагея смотрела на них и думала: «Я же их люблю. Я же их очень люблю. Зачем я так с ними?» И в ту же секунду из дома, из открытой двери, из глубины горницы, донёсся тихий, довольный смешок. Печь смеялась. И Пелагея поняла, что это только начало.Пелагея стояла на крыльце, и холодный утренний воздух жег ей лицо, но она не чувствовала холода. Внутри у неё всё сжалось в один тугой комок, и этот комок мешал дышать. Смешок из дома всё ещё стоял в ушах — тихий, довольный, как будто печь действительно получила что-то вкусное и облизывалась теперь, довольно щурясь. Пелагея обернулась через плечо. Дверь в сени была открыта, за ней — тёмный проём, и в этом проёме ничего не было видно, кроме смутного белого пятна. Печь. Она стояла там, в глубине, и ждала.

— Мам, — окликнула Нюшка. — Ты чего? Ты как будто увидела кого.

Пелагея вздрогнула и посмотрела на дочку. Нюшка сидела на ступеньке, прижимая к себе тряпичную куклу, и смотрела на мать широко открытыми глазами. В этих глазах было столько доверия и столько страха, что Пелагея почувствовала, как к горлу подкатывает что-то горячее и горькое. Она присела рядом с дочкой, обняла её за плечи и сказала, стараясь, чтобы голос звучал спокойно:

— Ничего, Нюшенька. Просто не выспалась. Пойдём, кашу варить будем.

Она поднялась и пошла в дом, но на пороге остановилась. Ей вдруг отчётливо, до тошноты, захотелось не заходить. Как будто там, внутри, за дверью, стояло что-то большое и терпеливое, и это что-то ждало именно её. Пелагея пересилила себя и шагнула в сени. Пахло дымом и чем-то ещё, сладковатым, приторным. Она прошла в горницу, стараясь не смотреть на печь, достала чугунок, налила воды, насыпала крупы. Руки у неё дрожали. Крупа просыпалась на стол, и она машинально смахивала её ладонью, а в голове стучало одно и то же: «Печка говорила. Печка смеялась. Печка голодная».

Она поставила чугунок в устье, но заслонку оставила открытой. Огонь уже прогорел, остались только угли, красные, подёрнутые пеплом. Пелагея смотрела на них и ждала. Ничего не происходило. Угли себе лежали, каша себе пыхтела, дом себе стоял. Может, и правда показалось? Может, это была какая-то другая печь, не эта? Мало ли, что ночью чудится, когда глаза слипаются.

Она уже почти поверила в это, когда Нюшка вошла в горницу и, не глядя на мать, тихо сказала:

— Мам, а печка сегодня ночью разговаривала.

Пелагея выронила ложку. Ложка стукнула о пол и покатилась под лавку. Она обернулась к дочке так резко, что Нюшка отшатнулась.

— Что ты сказала?

— Печка, — повторила Нюшка, и голос у неё задрожал. — Она говорила твоим голосом. Я проснулась, а она говорит: «Нюшка, вставай, воды принеси». А я не хотела вставать, мне было холодно. А она опять: «Нюшка, кому говорят». И так сердито, как ты, когда ругаешься. Я испугалась и одеяло на голову натянула. А она ещё что-то говорила, но я уже не слушала.

Пелагея опустилась на лавку. Ноги у неё подкосились. Значит, не показалось. Значит, печь говорила не только с ней. Она говорила с детьми. И говорила её голосом. Пелагея сжала кулаки, чтобы не закричать, и заставила себя улыбнуться.

— Это тебе приснилось, Нюшенька, — сказала она мягко, как только могла. — Печки не разговаривают. Печки только топятся. Вот, смотри, каша варится. Хочешь попробовать?

Нюшка посмотрела на неё недоверчиво, но всё-таки кивнула. Пелагея наложила ей каши в миску, поставила на стол, но девочка ела вяло, то и дело поглядывая на печь. А печь стояла белая, спокойная, и в открытом устье тихо потрескивали угли. Ничего в ней не было страшного. Просто большая старая печь. Но Пелагея теперь знала: она умеет притворяться.

Гришка вошёл в дом, бросил на пол охапку дров и сказал:

— Мам, я там это… дров наколол. Много. Хватит на неделю.

Он сказал это с той особенной мальчишеской гордостью, когда ждёшь похвалы, но боишься, что её не будет. Пелагея посмотрела на него и вспомнила вчерашние слова: «Весь в отца. Толку ноль». Она почувствовала, как внутри неё что-то сжалось ещё сильнее. Это она, она сама, своими руками накормила печь этими словами. И печь их съела. И теперь отрыгивает обратно.

— Молодец, Гриша, — сказала она, и голос у неё дрогнул. — Спасибо. Ты у меня хороший.

Гришка удивлённо моргнул. Он не привык к таким словам. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл. Потом кивнул и сел за стол.

Пелагея весь день старалась быть ласковой. Она говорила детям «спасибо», говорила «умница», говорила «помоги мне, пожалуйста». Она не кричала, не поджимала губы, не бросала косые взгляды. И дети ходили за ней как потерянные, не понимая, что случилось с матерью. Нюшка даже спросила:

— Мам, ты не болеешь?

— Нет, — сказала Пелагея. — Я просто… я просто поняла, что была неправа. Что я вас люблю. Очень люблю.

Она сказала это и прислушалась. Из печи не доносилось ни звука. Только дрова тихо пощёлкивали. Пелагея даже немного осмелела. Может, всё обойдётся? Может, если она будет доброй, печи больше нечем будет питаться? Может, она засохнет, как старая коряга, и снова станет просто кирпичной кладкой?

Вечером она затопила печь. Дрова легли ровно, огонь занялся быстро, и в доме снова стало тепло. Пелагея поставила на печь чугунок с водой, чтобы был пар, и села штопать. Нюшка уже спала, Гришка возился за занавеской. Всё было как всегда, тихо и спокойно.

И тут печь заговорила снова.

— Пелагея, — сказала она тем самым вкрадчивым голосом. — А ты сегодня хорошая. Ты сегодня ласковая. Ты думаешь, это мне понравилось?

Пелагея замерла с иглой в руке. Она не стала притворяться, что не слышит. Она уже поняла, что это бесполезно.

— Что тебе надо? — спросила она шёпотом, чтобы не услышали дети.

— Мне надо, чтобы ты меня выпустила, — сказала печь. — Я же говорила. Ты меня накормила, а теперь я хочу выйти. Я хочу посмотреть, что там, за твоими стенами. Я хочу пройтись по деревне. Я хочу, чтобы меня боялись так же, как ты боишься.

— Я тебя не боюсь, — сказала Пелагея, но голос её сорвался.

— Боишься, — ласково сказала печь. — Ты боишься. Я слышу, как у тебя сердце стучит. Ты думаешь, я каменная и ничего не чувствую? Я всё чувствую. Я чувствую, как ты потеешь, когда подходишь ко мне. Я чувствую, как у тебя пересыхает во рту, когда ты открываешь заслонку. Я чувствую, как ты хочешь убежать. И знаешь что? Я тоже хочу. Только я не могу.

Меня держат эти стены. Меня держит твой дом. А ты можешь меня выпустить. Просто скажи: «Выходи». И я выйду.

— И что потом? — спросила Пелагея.

— Потом я уйду, — сказала печь. — Я пойду гулять. Я найду себе другое место. Может, в лесу. Может, в другой деревне. Я не буду тебе мешать. Ты будешь жить спокойно, растить своих детей, и никто тебя не тронет. А если не выпустишь… — Печь замолчала, и в этой тишине Пелагея услышала, как что-то внутри неё тяжело заворочалось, как будто там, в кирпичной глубине, повернулся огромный зверь. — Если не выпустишь, я выйду сама. И тогда я уже не буду спрашивать. Я возьму то, что мне понравится. А мне, Пелагея, очень нравится твоя Нюшка. Она маленькая, тёплая, и от неё так вкусно пахнет страхом.

Пелагея вскочила. Игла упала, штопка полетела на пол. Она подбежала к печи и, не думая, схватила кочергу.

— Не смей, — прошептала она. — Не смей её трогать. Я тебя разломаю. Я тебя по кирпичику разберу. Я тебя снесу, поняла?

Печь засмеялась. Тихо, дребезжаще, как будто внутри неё перекатывались угли.

— Попробуй, — сказала она. — Только знаешь, что будет, если ты меня сломаешь? Ты сломаешь свой дом. Ты сломаешь свою жизнь. А я всё равно останусь. Я в каждом кирпиче. Я в каждой трещине. Я в самом воздухе этого дома. Ты думаешь, я только в печи? Нет, Пелагея. Я везде. Я в стенах. Я в подполе. Я в трубе. Я даже в твоей голове. Ты разве не заметила, как ты сегодня старалась быть хорошей? Это я тебя заставила. Это я тебя напугала. И знаешь что? Мне понравилось. Мне понравилось, как ты боишься.

Пелагея опустила кочергу. Руки у неё тряслись. Она поняла, что печь права. Она не сможет её сломать. Дом рухнет, дети останутся без крова, а печь всё равно найдёт способ вернуться. Она уже чувствовала это: печь была не просто вещью, она была частью дома, частью самой земли, на которой стояла изба. Её нельзя было вынести, как мебель. Её нельзя было залить водой, как костёр. Она была живая, и она была сильнее.

Пелагея вернулась на лавку и села. Кочерга осталась лежать у печи. В доме снова стало тихо, только ходики стучали. И в этой тишине Пелагея вдруг отчётливо поняла, что она одна. Совсем одна. Муж ушёл, детей она сама же и научила бояться, а теперь ещё и печь. Ей захотелось заплакать, но слёз не было. Только сухая, горькая пустота внутри.

— Чего ты хочешь? — спросила она ещё раз, уже без злости, устало. — Ты сказала, что хочешь выйти. Но я не могу тебя выпустить. Я не знаю как.

— А ты подумай, — сказала печь. — Ты же умная. Ты всё время думаешь, как бы кого поругать, как бы пожалеть себя. А ты подумай, как меня выпустить. Может, тебе кто-нибудь подскажет. Может, ты сама догадаешься. А пока… — Печь сладко зевнула, и в устье что-то шевельнулось, как будто там потянулся большой ленивый кот. — А пока я посплю. Устала я что-то. Ты меня сегодня хорошо накормила. И лаской, и страхом. Спасибо, хозяюшка.

Пелагея просидела на лавке до полуночи. Она думала. Думала так, как не думала никогда в жизни. Она перебирала в голове всё, что знала о печах, о домовых, о нечистой силе. Ей вспомнились бабушкины рассказы: про то, как печь может «заболеть», если её топить плохими словами; про то, как в старину, если печь начинала «шалить», хозяйка пекла хлеб и оставляла его на загнетке, чтобы задобрить «печного духа». Вспомнилось и другое: про то, что если печь «заговорила», нужно сжечь в ней что-то, что дорого хозяину. Что-то, что он любит больше всего. Чтобы печь получила жертву и успокоилась.

Пелагея поёжилась. Она представила, как берёт Нюшкину куклу — ту самую, с которой девочка не расстаётся, — и бросает её в огонь. Или Гришкину самодельную деревянную лошадку, которую он вырезал прошлой зимой и никому не даёт. Или… Она не могла. Не могла даже думать об этом. Но печь сказала: «Кого-то сжечь». Или ей только показалось? Может,

печь сказала не «кого-то», а «что-то»? Может, это был просто шёпот, который она сама себе придумала?

Она встала и подошла к печи. Приложила ладонь к тёплому боку. Печь спала. Она действительно спала: внутри неё что-то тихо посапывало, как ребёнок. Пелагея постояла так немного, потом убрала руку и пошла в спальню. Нюшка спала, раскинувшись, и во сне улыбалась. Пелагея села рядом с ней на пол и просидела так до утра, глядя на дочку и слушая, как в глубине дома тихо, довольно сопит печь. Она не знала, что делать. Она знала только одно: она не отдаст детей. Ни за что. Даже если для этого придётся сжечь что-то очень дорогое. Даже если это будет она сама.

Глава 2. То, что живёт в кирпичах

Пелагея не сомкнула глаз до самого рассвета. Она сидела на полу возле Нюшкиной кровати, привалившись спиной к холодной стене, и смотрела, как за окном медленно сереет небо. Нюшка спала спокойно, посапывала, иногда чмокала губами, и её маленькая рука свешивалась с кровати, касаясь материного плеча. Пелагея держала эту руку в своей и думала о том, что печь сказала на прощание. «Мне очень нравится твоя Нюшка. Она маленькая, тёплая, и от неё так вкусно пахнет страхом». Эти слова стояли у неё в голове, как гвозди, вбитые в доску, и она не могла их вытащить. Каждый раз, когда она закрывала глаза, ей чудилось, что в темноте кто-то тихо, довольно урчит.

Когда первые лучи солнца упали на пол, Пелагея встала. Тело у неё затекло, спина ныла, но голова была на удивление ясной. Она поняла, что не может больше сидеть и ждать. Надо что-то делать. Надо найти кого-то, кто знает. В деревне была старуха, которую все называли баба Маня. Ей было за восемьдесят, она жила на самом краю, у оврага, в покосившейся избёнке, и о ней говорили разное. Кто-то считал её знахаркой, кто-то — просто выжившей из ума старухой, но все знали: если что-то странное происходит в доме, идут к ней. Пелагея сама никогда к ней не ходила, но слышала истории. Про то, как баба Маня выгнала из чьего-то двора кикимору, как сняла порчу с коровы, как вылечила ребёнка, которого не могли вылечить врачи. Может, и сейчас она поможет.

Пелагея растопила печь. Она делала это машинально, как делала тысячу раз, но сегодня руки дрожали, а когда она открыла заслонку, то невольно отшатнулась. В устье было темно и тихо. Никакого голоса, никакого шороха. Угли лежали себе спокойно, покрытые серым пеплом, и пахло от них обычным дымом. Пелагея положила дрова, чиркнула спичкой, и огонь занялся быстро, весело, как будто печь и не думала ничего говорить. Может, и правда показалось? Может, это была какая-то ночная горячка?

Она сварила кашу, разбудила детей. Гришка вышел хмурый, невыспавшийся, Нюшка капризничала, не хотела вставать. Пелагея с трудом сдерживалась, чтобы не накричать на них, и каждое слово, которое она говорила, давалось ей с усилием. Она чувствовала, что печь слушает. Она чувствовала это каждой клеточкой тела. Печь сидела в своём углу, белая, большая, и молчала, но это молчание было тяжелее любого крика.

После завтрака Пелагея сказала детям:

— Я к бабе Мане схожу. Ненадолго. Гриша, ты за Нюшкой присмотри. Из дома не выходите. Понял?

Гришка кивнул. Он смотрел на мать с тревогой, но ничего не спрашивал. Он уже понял, что что-то не так, но не знал, что именно. Нюшка тоже смотрела на неё большими глазами и прижимала к себе куклу.

— Мам, а ты скоро? — спросила она.

— Скоро, — сказала Пелагея и поцеловала её в макушку. — Скоро, моя хорошая. Сидите тихо. И… — она замялась, не зная, как сказать, — и к печке не подходите. Ладно?

— Почему? — удивился Гришка.

— Просто не подходите, — сказала Пелагея резче, чем хотела. — Я скоро вернусь.

Она накинула платок и вышла. Утро было холодное, туманное. Деревня ещё спала, только где-то вдалеке лаяла собака, да куры кудахтали в загонах. Пелагея шла по раскисшей от дождя дороге, и в голове у неё было пусто. Она не знала, что скажет бабе Мане. Она даже не знала, поверит ли ей старуха. Но идти надо было.

Изба бабы Мани стояла на отшибе, у самого оврага, и выглядела так, будто вот-вот упадёт. Крыша просела, окна были затянуты бычьим пузырём вместо стекла, а на двери висел замок,

но не запертый, а просто прицепленный. Пелагея постучала. Долго никто не отвечал. Она уже хотела уйти, когда за дверью послышался шорох, и хриплый голос спросил:

— Кто там?

— Это я, баба Маня. Пелагея, с краю деревни. Из избы, где печь большая, белая.

Дверь скрипнула и приоткрылась. В щели показалось лицо — сухое, морщинистое, с двумя яркими, как у птицы, глазами. Баба Маня смотрела на неё долго, внимательно, потом сказала:

— А, Пелагея. Знаю. Заходи.

Внутри было темно и пахло травами и воском. На стенах висели пучки сушёных трав, на полке стояли банки с какими-то порошками, а в углу, под образами, горела лампадка. Баба Маня села на лавку, указала Пелагее на другую. Та села, не зная, с чего начать.

— Ну, говори, — сказала старуха. — Не просто же ты пришла. Что стряслось?

Пелагея набрала воздуха в грудь и сказала:

— Баба Маня, у меня печь заговорила.

Она ждала, что старуха засмеётся, скажет, что она выжила из ума, что это всё нервы. Но баба Маня не засмеялась. Она посмотрела на Пелагею внимательно, потом откинулась назад и сказала:

— Говорит? Что говорит?

— Всякое, — сказала Пелагея, и голос у неё сорвался. — Говорит, что я её плохими словами кормлю. Что я злая. Что она голодная. И ещё… — она запнулась, — ещё говорит, что хочет выйти. Что если я её не выпущу, она сама выйдет и заберёт… заберёт Нюшку.

Баба Маня молчала. Она сидела неподвижно, и только пальцы её медленно перебирали край платка. Потом она сказала:

— Когда это началось?

— Вчера. Я днём ругала Гришку, а вечером… вечером она запела моим голосом. А ночью заговорила.

— Ты что-нибудь в неё бросала? Может, бумажку какую? Может, вещь чужую?

Пелагея вспомнила про Нюшкин рисунок.

— Нюшка нарисовала печку. Я хотела выбросить рисунок в огонь, но заслонка не открылась. А потом открылась сама.

Баба Маня кивнула, как будто ждала этого.

— Плохо, — сказала она. — Очень плохо. Ты её накормила, Пелагея. И не только словами. Ты ей дала понять, что она сильнее тебя. Ты испугалась. А как только печь почуяла страх, она ожила.

— Так она и раньше была живая? — спросила Пелагея.

— А ты думала, печь — это просто кирпичи? — Баба Маня усмехнулась. — В каждой старой избе есть печной дух. Не всегда злой. Чаще всего он спит. Живёт себе в загнетке, в трубе, в подпечье, и не трогает никого, если его не трогать. Но если хозяйка злая, если в доме крик да ругань, если дети плачут от обиды, — печь просыпается. И начинает есть. Сначала слова. Потом мысли. Потом… — она посмотрела на Пелагею, и в её глазах было что-то такое, отчего Пелагее стало холодно. — Потом она захочет съесть что-нибудь посытнее.

— Что делать? — прошептала Пелагея. — Баба Маня, что мне делать? У меня дети. Нюшка маленькая. Гришка…

— Знаю, — сказала старуха. — Слушай сюда. Я тебе расскажу, что знаю. А ты слушай и не перебивай.

Она налила в кружку воды из ковша, отпила глоток и начала:

— Давно это было. Я ещё девчонкой была. В соседней деревне, за лесом, жила женщина. Тоже одна, с детьми. Мужа на войне убили, она злая стала, никого не любила. И печь у неё в доме заговорила. Сначала она её не слушала, думала — мерещится. А потом печь начала

её пугать. Говорила ей: «Я тебя съем. Я твоих детей съем». Женщина испугалась, пошла к знахарке. А знахарка ей сказала: «Печь твоя голодная. Ты её кормила злом, а теперь она хочет мяса. Есть два способа. Первый — сжечь в ней то, что тебе дороже всего. Тогда она насытится и уснёт». Женщина подумала-подумала и сожгла в печи свою шкатулку с украшениями. Всё, что от мужа осталось. Дороже у неё ничего не было.

— И что? — спросила Пелагея.

— Печь успокоилась, — сказала баба Маня. — На время. А потом опять заговорила. Потому что женщина снова начала злиться. На детей, на соседей, на весь белый свет. И тогда знахарка сказала ей: «Ты не то сожгла. Надо было сжечь свой страх. Ты боишься одна остаться, боишься, что дети вырастут и уйдут, боишься, что тебя никто не любит. Вот это и надо было в огонь бросить. А ты украшения сожгла. Глупая».

— А что случилось с той женщиной? — спросила Пелагея.

Баба Маня помолчала.

— А что случилось? — сказала она наконец. — Сгорела она. Вся изба сгорела. Дети успели выскочить, а она нет. Говорят, печь её не выпустила. Дверь сама закрылась.

Пелагея почувствовала, как у неё холодеют руки. Она сжала кружку так, что пальцы побелели.

— Баба Маня, — сказала она, — а как сжечь страх? Я не понимаю. Как его сжечь, если он у меня внутри?

— А вот это, милая, тебе самой решать, — сказала старуха. — Я тебе только одно скажу: печь — она как зеркало. Она показывает тебе то, что ты сама в себе прячешь. Ты злая не потому, что муж ушёл. Ты злая потому, что боишься. Боишься, что тебя бросят. Боишься, что дети тебя не любят. Боишься, что ты одна. Вот она тебе это и показывает. Своим голосом, твоими словами. А ты вместо того, чтобы разобраться, начинаешь ещё больше бояться. И кормишь её. И она растёт.

— Что мне делать? — повторила Пелагея. — Скажи мне, что делать.

Баба Маня встала, подошла к полке, взяла маленький мешочек с чем-то, потом вернулась и вложила его Пелагее в руку.

— Это соль, — сказала она. — Не простая. Я её заговаривала. Возьми и посыпь ею подпечье. Только не всю сразу. Три раза посыпь: вечером, ночью и на рассвете. И при этом говори: «Печка-матушка, не ешь меня, не ешь моих детей, ешь мой страх». Поняла?

Пелагея кивнула.

— А ещё, — продолжила старуха, — когда она заговорит, не беги. Не кричи. Сядь перед ней и слушай. Слушай, что она говорит. Потому что она говорит не просто так. Она тебе правду говорит. Ту правду, которую ты сама себе сказать боишься. А как ты её услышишь, может, и страх пройдёт. А как страх пройдёт, так и печь заснёт.

— А если не заснёт? — спросила Пелагея.

Баба Маня посмотрела на неё долгим взглядом.

— Тогда приходи опять, — сказала она. — Только, может, уже поздно будет.

Пелагея вышла от бабы Мани с мешочком соли в кармане и с тяжёлым сердцем. Туман к этому времени рассеялся, выглянуло солнце, и деревня уже проснулась. Кто-то гнал корову, кто-то тащил воду из колодца, и обычные утренние звуки немного успокоили Пелагею. Может, всё не так страшно. Может, баба Маня права, и надо просто перестать бояться. Может, печь — это просто отражение её собственной злости, и если она перестанет злиться, всё пройдёт.

Она вернулась домой, и на крыльце её встретил Гришка. Вид у него был испуганный.

— Мам, — сказал он шёпотом, — а печка опять говорила.

Пелагея остановилась.

— Что она сказала?

— Она сказала… — Гришка сглотнул. — Она сказала, что Нюшка сегодня ночью будет спать в ней. В печке. Что ей там будет тепло.

Пелагея влетела в дом. Нюшка сидела на лавке, прижавшись к стене, и плакала. Увидев мать, она бросилась к ней и обхватила её руками.

— Мам, мамочка, — всхлипывала она. — Она говорит, говорит, всё время говорит. Я не хочу в печку. Я не хочу.

— Тише, тише, — Пелагея гладила её по голове, но у самой руки дрожали. — Никто тебя в печку не отправит. Никто.

Она посмотрела на печь. Та стояла белая, спокойная, с закрытой заслонкой. И в этой спокойности было что-то такое злое, такое издевательское, что Пелагее захотелось схватить кочергу и бить по белёным бокам, пока не посыпятся кирпичи. Но она сдержалась. Она вспомнила слова бабы Мани: «Не беги. Не кричи. Сядь и слушай».

Она усадила детей за стол, дала им хлеба и молока, а сама подошла к печи. Присела на корточки, положила руки на колени и сказала тихо, чтобы дети не слышали:

— Ну, здравствуй. Я пришла тебя слушать.

Печь молчала. Пелагея ждала. В доме было тихо, только Нюшка шмыгала носом за столом.

— Ты хотела мне что-то сказать, — продолжала Пелагея. — Говори. Я не убегу.

И тогда печь ответила. Она говорила не своим прежним вкрадчивым голосом, а каким-то другим — усталым, скрипучим, как будто ворочали старые жернова.

— Долго ты шла, — сказала она. — Я тебя ждала. Я тебе много чего хотела сказать, Пелагея. Я тебе хотела сказать, что ты плохая мать. Ты думаешь, я тебя пугаю? Я тебя не пугаю. Я тебе правду говорю. Ты Гришку своего не любишь. Ты его винишь в том, что муж ушёл. Потому что он на него похож. Ты смотришь на него и видишь отца. И злишься. А он не виноват. Он мальчик. Ему ласка нужна, а ты его только ругаешь.

Пелагея слушала, и внутри у неё что-то переворачивалось. Она хотела возразить, сказать, что это неправда, что она любит Гришку, но слова застревали в горле. Потому что где-то в самой глубине души она знала: печь говорила правду. Она действительно смотрела на сына и видела мужа. И злилась. И не могла простить.

— А Нюшка? — спросила она шёпотом.

— Нюшку ты любишь, — сказала печь. — Но боишься. Ты боишься, что она вырастет и уйдёт. Как муж. Как все. Ты её держишь при себе, не отпускаешь никуда. Ты её душишь своей любовью. А она маленькая, ей воздух нужен. Ей бегать надо, смеяться, а ты её держишь. И она уже боится тебя. Потому что ты всё время кричишь.

Пелагея опустила голову. По щекам у неё текли слёзы, но она их не вытирала.

— Это всё правда, — сказала она. — Всё правда. Я плохая мать. Я знаю.

— Плохая, — согласилась печь. — Но не совсем. Ты стараешься. Ты устаёшь. Ты одна. Я это вижу. Я всё вижу. Я не хочу тебя съесть, Пелагея. Я хочу, чтобы ты меня поняла. Я тут сто лет стою. Я видела твою бабку, и её бабку, и ещё раньше. Я видела, как они жили. Они тоже злились, тоже боялись. Но они меня не будили. А ты разбудила. Ты меня накормила так, что я не могу уснуть. Я теперь голодная. И я не знаю, как мне быть.

— Баба Маня сказала, что мне надо сжечь свой страх, — сказала Пелагея.

Печь хмыкнула.

— Баба Маня много чего говорит. Она умная. Но она не знает, что я не просто печь. Я — печь-матушка. Я тут хозяйка. Я тебя кормлю теплом, я тебя грею, я тебя оберегаю. А ты меня кормишь злом. Мы с тобой связаны, Пелагея. Крепко связаны. И если ты меня не накормишь, я сама возьму то, что мне надо. Но не потому, что я злая. А потому, что я голодная. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Пелагея.

— А раз понимаешь, — сказала печь, — то слушай сюда. Есть один способ. Ты должна сжечь во мне то, что тебя держит. То, из-за чего ты злишься. Не украшения, не куклы, не игрушки. А то, что у тебя в сердце. Ты должна взять и сжечь свою обиду. На мужа, на жизнь, на себя. Взять и бросить её в огонь. И тогда я успокоюсь. Потому что обида — это моя главная еда. Я её больше всего люблю.

— Как я могу сжечь обиду? — спросила Пелагея. — Это же не вещь. Её в руках не подержишь.

— А ты придумай, — сказала печь. — Ты умная. Ты всё время думаешь, как бы кого поругать. А ты подумай, как от обиды избавиться. Напиши её на бумаге и сожги. Или нарисуй. Или слепи из глины и в огонь брось. Главное — чтобы ты в этот момент думала о своей обиде и хотела от неё избавиться. По-настоящему хотела. А не так, как ты обычно: посижу, пожалею себя и дальше пойду.

Пелагея слушала и не верила своим ушам. Печь говорила с ней, как живая, как старая бабка, которая хочет помочь, но не умеет говорить мягко. И в этой грубости было что-то честное, что-то такое, чему Пелагея вдруг поверила.

— А если не получится? — спросила она.

— Получится, — сказала печь. — Ты только захоти. А теперь иди. Устала я. И детей своих не пугай. Я Нюшку не трону. Я пошутила. Ну, почти пошутила.

Пелагея встала. Ноги у неё были как ватные. Она посмотрела на детей, которые сидели за столом, притихшие, испуганные, и вдруг поняла, что печь права во всём. Она действительно была злой. Она действительно боялась. И она действительно держала детей так, что им нечем было дышать.

Она подошла к столу, села рядом с ними и сказала:

— Гриша. Нюшка. Я вас люблю. Вы у меня самые хорошие. А я… я дура. Я вас ругаю, а вы не виноваты. Ни в чём не виноваты. Простите меня.

Гришка посмотрел на неё недоверчиво, но в глазах у него что-то дрогнуло. Нюшка обняла её и прижалась мокрым лицом к её плечу.

— Мамочка, — прошептала она. — Не уходи больше.

— Не уйду, — сказала Пелагея. — Никуда не уйду.

Она сидела с детьми до вечера. Они вместе ели кашу, вместе убирали со стола, вместе сидели у окна и смотрели, как за лесом садится солнце. Печь молчала. Она не говорила ни слова, не смеялась, не урчала. И Пелагея почти поверила, что всё обошлось.

Но когда стемнело и она пошла закрывать заслонку, то увидела на белом боку печи, прямо над устьем, тонкую, едва заметную трещину. Трещина шла сверху вниз, как шрам, и в глубине её что-то блестело, как будто оттуда смотрел чей-то глаз.

Пелагея перекрестилась и закрыла заслонку. Она знала, что это только начало. Она знала, что печь не отступит так просто. И она знала, что завтра ей придётся сделать то, о чём она даже думать боялась. Ей придётся сжечь свою обиду. По-настоящему. А для этого нужно было вспомнить всё, что она так старательно забывала. Всё, что болело. Всё, что она прятала в самой глубине души. И это было страшнее, чем любая печь.Пелагея легла спать, но сон не шёл. Она лежала с открытыми глазами, слушала, как посапывает Нюшка, как ворочается за занавеской Гришка, и думала о том, что ей предстоит. Сжечь обиду. Это оказалось куда труднее, чем она предполагала. Обида не была чем-то отдельным, что можно было вынуть, как занозу, и бросить в огонь. Обида была везде. Она пропитала её всю, как дым пропитывает одежду. Пелагея попробовала вспомнить, когда она началась, и не смогла. Может, когда муж ушёл? Может, раньше, когда он ещё жил с ней и всё время молчал, глядя в окно, как будто ждал чего-то? А может, ещё раньше, в детстве, когда её саму ругали и она клялась, что никогда не будет так делать со своими детьми? Она не знала. Обида была как старая мебель в доме: привычная, тяжёлая, и уже не помнишь, откуда она взялась.

Утром она встала раньше всех. Налила воды в таз, умылась, посмотрела на себя в маленькое зеркало над рукомойником. Оттуда на неё смотрела женщина с серым лицом и запавшими глазами. «Плохая мать», — сказала она себе, и тут же одёрнула себя. Нет. Нельзя так. Печь только этого и ждёт. Она кормится этими словами. Пелагея вытерла лицо полотенцем и сказала вслух, глядя в зеркало:

— Я не плохая. Я устала. Я одна. Но я справлюсь.

Зеркало ничего не ответило. Пелагея вздохнула и пошла на кухню. Первым делом она открыла заслонку и заглянула в устье. Там было темно и пусто. Никакого глаза, никакого блеска. Только зола и холод. Пелагея посыпала подпечье солью, как велела баба Маня, и прошептала:

— Печка-матушка, не ешь меня, не ешь моих детей, ешь мой страх.

Соль легла на пол белой дорожкой. Печь молчала. Пелагея подождала немного, потом закрыла заслонку и занялась завтраком. Дети встали вялые, притихшие. Нюшка всё время оглядывалась на печь, Гришка хмурился и молчал. Пелагея не кричала на них. Она говорила мягко, но чувствовала, что это не помогает. Дети всё равно были как на иголках. Они ждали, когда что-то случится. И это «что-то» не заставило себя ждать.

После завтрака Пелагея села за стол, взяла огрызок карандаша и клочок бумаги. Она хотела написать свою обиду. Но рука не слушалась. Что писать? «Муж ушёл»? Это слишком просто. «Я устала»? Это не обида, это правда. «Я злюсь на Гришку, потому что он похож на отца»? Она замерла с карандашом в руке. Вот оно. Вот самое стыдное, самое тёмное, что она прятала даже от себя. Она действительно злилась на сына за то, что он похож на человека, который её бросил. Это было несправедливо. Это было жестоко. Но это было правдой.

Она написала: «Я обижена на Гришку за то, что он похож на отца». Буквы получились кривые, корявые, как будто она выцарапывала их на камне. Потом она подумала и добавила: «Я обижена на мужа за то, что он ушёл и не вернулся». И ещё: «Я обижена на себя за то, что не могу простить». Она исписала весь клочок, а потом перевернула его и написала с другой стороны: «Я боюсь, что дети меня не любят. Я боюсь остаться одна. Я боюсь, что печь заберёт Нюшку».

Когда она закончила, бумажка была исписана вдоль и поперёк, и Пелагея почувствовала, как у неё немного отлегло от сердца. Как будто она вытащила из себя что-то тяжёлое и положила на стол. Она сложила бумажку вчетверо и спрятала в карман. Вечером она бросит её в огонь. И вместе с ней бросит свою обиду. Так сказала печь. Так сказала баба Маня. И Пелагея решила, что сделает это, чего бы ей это ни стоило.

День тянулся медленно. Пелагея старалась не думать о печи, но мысли возвращались к ней снова и снова. Она ловила себя на том, что прислушивается. Ждёт, когда из глубины дома донесётся знакомый вкрадчивый голос. Но печь молчала. Молчала весь день. И это молчание было даже страшнее, чем слова. Пелагея чувствовала, что печь копит силы. Что она ждёт вечера, как ждала она сама, когда была девчонкой и знала, что её будут ругать за разбитую чашку.

К вечеру пришёл сосед, дядя Коля. Он был мужик простой, работящий, жил через два дома, и иногда заходил то за солью, то за инструментом, то просто поговорить. Пелагея не любила его визитов: он всегда приносил новости, а новости в деревне были либо плохие, либо пустые. Но сегодня она обрадовалась ему, как родному. Может, при нём печь не решится говорить.

— Здорово, Пелагея, — сказал дядя Коля, снимая шапку. — Как живёшь? Дети как?

— Живём потихоньку, — сказала Пелагея. — Садись, чаю налью.

Дядя Коля сел за стол, огляделся. Гришка сидел в углу, строгал какую-то палочку, Нюшка возилась с куклой. В доме было тепло, пахло кашей и хлебом. Всё было как у людей. И всё же дядя Коля что-то почувствовал. Он принюхался, потом посмотрел на печь и сказал:

— А чего это у тебя печь такая белая? Как будто её только что побелили.

— Побелила, — сказала Пелагея. — Давно пора было.

— А трещина-то откуда? — Дядя Коля кивнул на тонкую линию над устьем. — Смотрика, прямо как шов. Ты бы замазала, а то дым пойдёт.

Пелагея посмотрела на трещину. Она стала больше. Ещё утром она была тонкой, как волос, а теперь раздалась, и в глубине её действительно что-то темнело, как будто оттуда смотрела глубокая дыра.

— Замажу, — сказала она. — Завтра.

Дядя Коля пил чай, рассказывал про то, что в лесу волки начали подходить близко к деревне, что кто-то видел их следы у оврага. Пелагея слушала вполуха. Она смотрела на печь и думала о том, что трещина стала больше. Это печь. Это она растёт. Она хочет выйти. И тут печь заговорила.

Она заговорила не с Пелагеей. Она заговорила с дядей Колей.

— Николай, — сказала она тихим, вкрадчивым голосом. — А ты знаешь, что твоя жена тебе изменяет?

Дядя Коля поперхнулся чаем. Он закашлялся, застучал кулаком по столу, потом посмотрел на Пелагею безумными глазами.

— Что ты сказала?

— Я ничего не говорила, — прошептала Пелагея. Она побледнела и вцепилась в край стола.

— Сказала, — сказал дядя Коля. — Ты сказала, что моя жена мне изменяет. Ты что, с ума сошла?

— Это не я, — сказала Пелагея, и голос у неё сорвался. — Это печь.

Дядя Коля посмотрел на печь. Потом на Пелагею. Потом опять на печь. В его глазах был страх, смешанный с недоверием.

— Ты что, заболела? — спросил он. — Печи не говорят.

— Говорят, — сказала Пелагея. — Эта говорит. Она и с детьми говорила. Она хочет, чтобы я её выпустила. А я не знаю как.

Дядя Коля встал. Он смотрел на Пелагею так, как смотрят на человека, который вдруг начал говорить на чужом языке. Потом он взял шапку и сказал:

— Ты это… отдохни. Я пойду. А то у тебя тут… нехорошо.

Он вышел, и в сенях долго скрипели половицы, как будто он не шёл, а бежал. Пелагея осталась одна. Дети смотрели на неё испуганно. Нюшка начала плакать.

— Мам, она опять, — прошептала она. — Она опять говорит.

— Знаю, — сказала Пелагея. — Знаю, моя хорошая. Но я с ней справлюсь. Я обещаю.

Она подождала, пока дети уснут, и только тогда подошла к печи. В доме было тихо. За окном выл ветер, и ветки берёзы царапали стекло. Пелагея достала из кармана сложенную бумажку и развернула её. Буквы расплылись, но она знала, что там написано. Она помнила каждое слово.

— Ну, — сказала она, обращаясь к печи. — Я готова. Я сожгу свою обиду. Ты этого хотела?

Печь молчала. Только в глубине её что-то тихо потрескивало, как будто там перекатывались угли. Пелагея открыла заслонку. В устье было темно и холодно. Она взяла спички, чиркнула одной, но огонёк погас. Она чиркнула другой — та сломалась. Третья загорелась, но тут же погасла, как будто кто-то дунул на неё из глубины печи.

— Не хочешь, чтобы я жгла? — спросила Пелагея. — А я всё равно сожгу.

Она взяла бумажку, поднесла её к устью и сказала громко, чтобы печь слышала:

— Я сжигаю свою обиду на мужа. Я сжигаю свою обиду на Гришку. Я сжигаю свой страх остаться одна. Я сжигаю свою злость. Я больше не хочу её носить. Я хочу быть другой. Я хочу быть доброй. Я хочу, чтобы мои дети меня не боялись.

Она чиркнула ещё одной спичкой, и на этот раз огонёк загорелся ярко и ровно. Она поднесла его к бумажке. Бумажка вспыхнула сразу, вся, как будто только и ждала этого. Пелагея бросила её в устье. Огонь лизнул бумагу, и она свернулась, почернела, рассыпалась в прах. И в ту же секунду печь застонала.

Это был не голос. Это был звук, как будто внутри неё что-то тяжёлое сдвинулось с места и рухнуло. Пелагея отшатнулась. Стена за печью затрещала. Из трещины над устьем повалил дым, густой, чёрный, и в этом дыму Пелагея увидела что-то, отчего у неё остановилось сердце. В дыму был силуэт. Маленький, сгорбленный, с длинными руками и большой головой. Он сидел на загнетке, свесив ноги, и смотрел на неё. У него не было лица. Только два глаза, светящихся красным, как угли.

— Ты сожгла бумажку, — сказал он скрипучим голосом. — А обида осталась. Обида не в бумажке, Пелагея. Обида в тебе. Ты её не сожгла. Ты её только раздразнила.

Пелагея хотела закричать, но голос не шёл. Она смотрела на этого маленького уродца, сидящего в её печи, и понимала, что это и есть та самая печь-матушка. То, что жило в кирпичах. То, что она кормила своими словами. И оно было голодное.

— Ты сказала, что хочешь быть доброй, — продолжал уродец. — А знаешь, что это значит? Это значит, что ты должна отдать мне то, что тебе дороже всего. Не бумажку. Не украшения. А то, что ты любишь. Своего сына. Свою дочь. Отдай мне одного из них. И я усну. И ты будешь жить спокойно. Добрая. Ласковая. Никогда больше не закричишь. Только отдай.

Пелагея упала на колени. Слёзы текли по её лицу, но она не чувствовала их. Она смотрела на уродца и понимала, что это не шутка. Это не игра. Это настоящий голод. И она не знала, что ему ответить. Потому что где-то в самой глубине души, в самом тёмном углу, она вдруг почувствовала, что готова согласиться. Готова отдать одного, чтобы спасти другого. Готова на всё, чтобы её дети жили. И это было самое страшное. Печь знала, что она готова. И ждала.

Глава 3. Голодная тишина

Пелагея стояла на коленях перед открытым устьем, и слёзы капали на пол, оставляя тёмные пятна на половицах. Уродец сидел на загнетке, свесив длинные, тонкие ноги, и смотрел на неё красными глазами. Он ждал. Он знал, что она ответит. Он знал, что она уже почти согласна. И это было самое страшное — не то, что он говорил, а то, что она слушала.

— Ну? — сказал он скрипучим голосом. — Кого отдашь? Мальчишку или девчонку? Мальчишка уже большой, он тебе грубит, он на отца похож. Отдай его. Тебе легче станет. А девчонка пусть останется. Она маленькая, она тебя любит. Пока любит.

Пелагея подняла голову. В устье печи было темно, но она видела его, видела каждую подробность: сгорбленную спину, длинные руки с тонкими пальцами, большую голову без лица, только два глаза, как два уголька. Он был похож на ребёнка, которого долго держали в темноте и не кормили. И от этого сходства у Пелагеи внутри что-то перевернулось.

— Нет, — сказала она. Голос у неё дрожал, но она сказала это твёрдо. — Я никого не отдам. Ни Гришку, ни Нюшку. Ни за что.

Уродец склонил голову набок. Глаза его сузились.

— Ты уверена? — спросил он. — Подумай хорошенько. Ты одна. Тебе тяжело. Ты устала. Ты всю жизнь только и делаешь, что работаешь и злишься. А если ты отдашь мне мальчишку, я тебе помогу. Я буду тебя слушаться. Я буду тебя грет ь. Я буду охранять твой дом. Ты будешь спать спокойно. Никто к тебе не придёт. Никто тебя не обидит. Только отдай одного. Одного, Пелагея. Это не так много.

— Нет, — повторила Пелагея. Она уже не плакала. Она смотрела на уродца и чувствовала, как внутри неё поднимается что-то горячее, злое, но не то зло, которым она кормила печь все эти годы. Это было другое. Это было желание защитить. — Ты меня не обманешь. Ты не поможешь. Ты хочешь съесть моих детей. И меня хочешь съесть. Ты голодный, и ты никогда не наешься. Потому что сколько бы ты ни съел, тебе всё мало.

Уродец замер. Потом медленно, очень медленно, он поднялся на ноги. Он был маленький, не больше Нюшки, но когда он выпрямился, Пелагее показалось, что он стал больше. Как будто он вырос от её слов. Как будто он питался не только злом, но и страхом, а сейчас она перестала бояться.

— Ты пожалеешь, — сказал он. Голос его изменился. Теперь он был не скрипучий, а низкий, гулкий, как будто шёл из самой земли. — Ты пожалеешь, Пелагея. Я тебя предупредил. Я тебе предложил по-хорошему. А ты отказалась. Теперь я возьму сам. И не одного. Я возьму обоих. И тебя в придачу.

Он шагнул вперёд. Пелагея отшатнулась, но не встала с колен. Она смотрела на него и чувствовала, как холодный пот течёт по спине. Уродец поднял руку, и в устье печи что-то громко треснуло. Трещина над заслонкой раздалась шире, и из неё повалил дым, чёрный, едкий. Пелагея закашлялась. Она хотела закрыть заслонку, но не могла пошевелиться. Руки и ноги стали как деревянные.

— Ты думала, что сможешь меня победить? — сказал уродец. — Ты думала, что сожжёшь бумажку и всё пройдёт? Глупая. Я не бумажка. Я — печь. Я — дом. Я — земля, на которой ты стоишь. Ты не можешь меня сжечь. Ты можешь только кормить. И ты будешь кормить. Потому что ты злая. Ты всегда была злой. И всегда будешь.

Он сделал ещё один шаг. Теперь он стоял на краю устья, и его длинные пальцы касались кирпичей. Там, где он касался, кирпичи чернели, как будто обугливались. Пелагея смотрела на него и вдруг вспомнила слова бабы Мани: «Печь — она как зеркало. Она показывает тебе то, что ты сама в себе прячешь». И она поняла. Уродец был не просто печью. Он был её соб-

ственным страхом. Её злостью. Её обидой. Он был всем тем, что она носила в себе годами и не хотела замечать. И пока она его боялась, он был сильнее её.

— Ты не настоящий, — сказала Пелагея. Она сказала это тихо, но твёрдо. — Ты не настоящий. Ты — это я. Моя злость. Мой страх. Я тебя придумала. Я тебя накормила. И я же могу тебя убить.

Уродец засмеялся. Смех был сухой, трескучий, как будто горели сучья.

— Убить? Меня? Ты даже бумажку сжечь не смогла. Ты даже спичку зажечь не можешь без моего разрешения. Ты слабая, Пелагея. Ты всегда была слабой. И ты всегда будешь слабой.

Он шагнул вперёд, и его нога ступила на подпечье. Пелагея закричала. Она не знала, откуда у неё взялись силы, но она вскочила, схватила кочергу и ударила ею по устью. Кочерга звякнула о кирпич, высекла искру. Уродец отшатнулся. Он посмотрел на неё с удивлением. Потом улыбнулся. Улыбка была страшная, потому что у него не было рта, но Пелагея почувствовала, что он улыбается.

— Вот, — сказал он. — Вот она, твоя злость. Ты меня ударила. Ты меня ненавидишь. Ты меня боишься. И ты меня кормишь. Каждый раз, когда ты злишься, я расту. Каждый раз, когда ты боишься, я крепну. Ты не сможешь меня убить, потому что ты не сможешь перестать быть собой.

Пелагея опустила кочергу. Руки у неё тряслись. Уродец был прав. Она не могла перестать бояться. Она не могла перестать злиться. Это было сильнее её. Это было в ней с детства. Она смотрела на него и чувствовала, как из неё уходит последняя надежда.

И тут за её спиной раздался голос.

— Мама?

Пелагея обернулась. В дверях горницы стоял Гришка. Он был бледный, испуганный, но стоял прямо и смотрел не на мать, а на печь. За его спиной, держась за его рубашку, стояла Нюшка. Она плакала, но молча, беззвучно, только слёзы текли по щекам.

— Мама, — сказал Гришка. — Мы слышали. Мы всё слышали. Он говорил, что ты нас отдашь. Но ты не отдала. Ты сказала нет.

Пелагея посмотрела на сына. В его глазах не было страха перед ней. Только страх перед печью. И ещё что-то. Что-то, чего она не видела раньше. Уважение.

— Иди спать, — сказала она хрипло. — Идите оба. Я тут сама.

— Нет, — сказал Гришка. — Мы не пойдём. Мы останемся с тобой.

Он подошёл к ней, встал рядом. Нюшка отпустила его рубашку и подбежала к матери, обхватила её ноги, прижалась. Пелагея почувствовала, как её дети стоят рядом с ней, и внутри у неё что-то дрогнуло. Уродец в печи замер. Он смотрел на них, и глаза его стали тускнеть, как угли, которые залили водой.

— Что это? — спросил он. — Что вы делаете? Уходите. Я с вами не разговариваю. Я с ней разговариваю.

— Это мои дети, — сказала Пелагея. Голос у неё окреп. — И они меня не боятся. А ты боишься. Ты боишься, что они меня защитят. Ты боишься, что я не одна.

Она сказала это и почувствовала, что это правда. Уродец боялся. Он боялся не её, а их — троих, стоящих вместе. Он боялся того, чего у него никогда не было. Тепла. Любви. Семьи.

— Уходи, — сказала Пелагея. — Уходи из моего дома.

Уродец открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Гришка шагнул вперёд и сказал:

— Пошёл вон.

Он сказал это негромко, но твёрдо. И в ту же секунду печь содрогнулась. Из устья повалил дым, густой, чёрный, и в этом дыму уродец начал таять. Он тянул к ним руки, но они не могли дотянуться. Он открывал рот, но не издавал ни звука. И потом он исчез. Дым рассеялся. В устье остались только угли, красные, тлеющие, и запах горелого.

Пелагея закрыла заслонку. Руки у неё дрожали, но она сделала это. Потом она обернулась и посмотрела на детей. Гришка стоял бледный, но спокойный. Нюшка всё ещё плакала, прижимаясь к её ногам. Пелагея опустилась на колени и обняла их обоих. Она обняла их так крепко, как не обнимала никогда в жизни.

— Простите меня, — прошептала она. — Простите меня, мои хорошие. Я вас люблю. Я вас очень люблю. Я больше не буду кричать. Я обещаю.

— Мам, — сказал Гришка, и голос у него дрогнул. — Мы тебя тоже любим. Ты только не плачь.

Пелагея плакала. Она плакала и смеялась одновременно, и дети плакали вместе с ней, и в доме стало тепло. Не от печи. От них самих.

Они легли спать все вместе, на одной кровати, как в ту ночь, когда муж ушёл и Пелагея не могла остаться одна. Нюшка спала посередине, обняв куклу. Гришка лежал с краю, и его рука касалась руки матери. Пелагея лежала и смотрела в потолок. Она думала о том, что завтра надо будет замазать трещину, вымыть пол, выбросить золу. Обычные дела. Но она знала, что это не конец. Уродец не исчез. Он просто затаился. Печь снова стала печью, но она всё ещё была живая. И она всё ещё была голодная.

Перед тем как уснуть, Пелагея вспомнила слова бабы Мани: «Печь — она как зеркало. Она показывает тебе то, что ты сама в себе прячешь». Она посмотрела на печь, на её белые бока, на тонкую трещину над устьем, и тихо сказала:

— Я тебя не боюсь. Слышишь? Я тебя больше не боюсь. Ты можешь говорить что хочешь. Ты можешь пугать меня сколько угодно. Но у меня есть дети. И они меня любят. И я их люблю. И этого у тебя не отнять.

Печь не ответила. Но в её глубине что-то тихо, недовольно скрипнуло, как будто старый пёс заворчал во сне. Пелагея улыбнулась. Она закрыла глаза и впервые за много ночей уснула спокойно.

Утром её разбудил не голос печи, а голос Нюшки. Девочка сидела на кровати и говорила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.